

ДНЕВНИК ЛЕНТЯЯ

Не все же славить ударников, и примелькаться может. Время от времени не мешает напомнить и о лодырях. Вот я и надумал на этот раз рассказать историю одного лентяя.

И до меня, конечно, были люди, сочинявшие интересные рассказы о лентяях. К примеру, есть такая книга — «Алиф лайла ва лайлата». У нас она называется «Тысяча и одна ночь». Человек, готовивший эту книгу, наряду с изрядным числом фантастических и занимательнейших народных рассказов включил в нее и повесть об одном ленивом юноше по имени Абу-танбал.

«...Итак, в городе Багдаде жил при матери некий ленивый юноша по имени Абу-танбал. Он ленился даже глотать жевки, какие мать совала ему в рот, из того, что добывала на пропитание. Он постоянно лежал на боку и не выказывал ни малейшего желания встать. Если же его поднимали, подхватив под мышки, и ставили на ноги, у него не хватало смелости сделать хотя бы шаг. А когда удавалось принудить его к тому, то ноги у него заплетались, и он падал...»

Короче: сочинитель из «Тысячи и одной ночи» не пожалел для бедняги Абу-танбала ни порицаний, ни хулы, какие только приходили ему на язык.

Ну, а в чем уступали Абу-танбалу каляндары, что еще вчера шатались по улицам с проповедью мертвых догм гнилой религии; недоумки, пристрастившиеся ко всякого рода зелью-отраве: анаше, опию, настою из маковых головок — кукнару, получеловеки, изуродованные всякими заразными болезнями — все эти типы, порожденные старой жизнью?

Герой задуманной мною повести также являл собой один из типов, порожденных той же старой жизнью. И вот его история.

...Было ль то, не было, но под куполом небес на арбузе земли и до революции был великий город под на-

званием Андижан. А вокруг и около того города было немалое число кишлаков, подвластных ему. Кишлаков и общин было так много, что если бы каждый кишлак, каждая община вздумали бы сразу привезти по одной арбе дынь, то Чарх-фаляк, обширная базарная площадь в таком, как Андижан, великом городе, представляла бы очень занятное зрелище. А если бы каждый кишлак да привез бы по корзине инжира, то всякий, завернувший на андижанский фруктовый базар, посмаковал бы там вдоволь и получил бы истинное удовольствие.

Так вот, один из тех кишлаков назывался Яр-баш. Вода в том кишлаке была чистая-чистая, земля — тучная, воздух приятный, а руки дехкан — трудолюбивые и щедрые. Фрукты, зревшие в этих местах, были известны всему свету и, конечно, еще лучше, чем всему свету, большому баю кишлака Мир-Джалалял-куруку. К примеру, персики в этом кишлаке зрели такие крупные и такие сочные, что если нарвать их, скажем, пудов пять да сложить в корзину, то поднять ту корзину было бы не так-то просто. Такими же сочными зрели там и дыни. По словам одних, к примеру, из одной дыни, по словам других — из дынь с одного куста, выращенного из одного семечка, а по словам третьих — из всех дынь всего кишлака можно было бы сварить паток. (Суть этих преданий не совсем ясна, правда, но это уж, как говорится, не моя вина.)

Несмотря на урожайность, сочность и сладость здешних фруктов, Мир-Джалалял-курук, бай кишлака, не очень жаловал их. (Кишлачные старики, правда, уверяли, мол: «Сам-то он их любил, да не любил, когда другие лакомятся».) Впрочем, не жаловал бай фрукты потому, что доход от них мал. Именно по этой причине он всеми правдами и неправдами по дешевке стал прибираться к рукам клочки земли соседних бедных дехкан вместе со всеми их неудобьями — ямами, буграми и колдобинами — и тем день ото дня приумножал свои владения. Дехкане, лишившись земли, становились батраками у байского порога. А бай на их участках велел все плодовые деревья вырубить, выкорчевать, землю выровнять и всю засеять хлопчатником. За такую-то чрезмерную жадность да за порубку фруктовых деревьев к имени Мир-Джалалял-бая и было пристегнуто прозвище «курук», попросту «жадина».

Благодаря хлопку Мир-Джалалял-курук и вовсе разбогател. Тут вам и пар двадцать волов, и десятка полтора породистых аргамаков-лошадей, тут и рессорные арбы-коляски, и пара жен — словом, простому дехканину, не

очень сведущему в счете, уже и не счесть было байского добра-богатства.

И все эти несметные богатства работники-батраки собирали и волокли на просторный мирджалаялкуруков двор, окруженный глинобитным, в четыре наката, забором, а у двухстворчатых ворот, ведущих во двор, высоких — арба с парой сотен снопов клевера могла свободно пройти, бесшумно сторожил то добро большущий пес Алапар.

По сторонам крытого проезда у ворот были насыпаны две глиняные завалины — супы. Алапар, гремя длинной цепью, непрерывно рыскал вдоль ворот от одного угла до другого и своим свирепым видом отпугивал даже нищих: ни один из них не отваживался заглянуть не только к Мир-Джалаял-куруку, но и к его соседям. Когда выпадало несколько минут, свободных от верной службы хозяину, Алапар вскакивал на одну из завалин и укладывался отдохнуть от своих трудов. А на другой завалине в куче лохмотьев-тряпья, свернувшись клубком, уже, кажется, целую вечность неподвижно лежал герой нашей повести Мамаджан.

В ту пору мулла Мамаджан был человеком, способным в лени с одного, как говорится, клевка обратиться в бегство, а сказать проще, превзойти Абу-танбала из «Тысячи и одной ночи». Но тут я предпочитаю прервать свое повествование и привести несколько страниц из относящихся к ряду лет подневных записей самого Мамаджан-лентяя, сделанных его собственной рукой и изложенных собственными его словами.

Быть может, у вас, дорогие читатели, возникнет сомнение, мол: «Если Мамаджан был таким лептеем, то откуда у него могло появиться желание научиться грамоте, возможно ли такое?» Но и это ваше сомнение, думаю, вполне разрешится на последних страницах дневника моего героя.

Вот она, «ТЕТРАДЬ ПОДНЕВНЫХ ЗАПИСЕЙ МУЛЛЫ МАМАДЖАНА-ЛЕНТЯЯ — СЫНА МУХАММАДА-АЛИЕВА»

Страница первая

После смерти отца с пропитанием у меня стало совсем туго. Несколько дней я просто голодал. Мне было лень подняться, обломать початки с кукурузы, посеянной от-

дом на полутанаше земли, чтобы потом варить их по мере надобности. Приходили старики нашей общины, доносили меня упреками. Но мне казалось легче выслушивать их упреки, чем встать и распрямить стан.

Кукурузу по уговору из трети обломал, обмолотил и две части доставил мне сын моего дяди. Всего вышло два мешка, около девяти пудов весом. Но кто же станет варить мне похлебку из этой кукурузы? У самого у меня сердце вздрагивало, только подумаю о кухне...

Сегодня жена Каримбергена-ака по-соседски прислала мне с сыном похлебки. Тот принес, поставил чашку, положил передо мной ложку и ушел. Да возблагодарит их аллах!

И опять я не ел двадня. Опять приходили старики общины, делали внушение. Я оправдывался, мол, боюсь работы, плакался. Особенно назойливым оказался один старик. Ну прямо извел своими приставапиями. Под конец начал злиться:

— Да встань же ты, мерзавец, лодырь!— говорит.— Может, у тебя поясница вывихнута, так мы покажем тебя какому-нибудь лекарю-костоправу, добудем какие понадобятся лекарства-бальзамы!..

В тот же день вечером пришли двое джигитов нашей общины, уложили меня на носилки и принесли в кишлачную чайхану. Сюда же были доставлены и оба мешка моей кукурузы. Это значит, чайханщик за кукурузу согласился взять на себя заботы обо мне на какое-то время.

Чайханщик стал подкармливать меня тем, что оставалось от гостей: кусками-огрызками лепешек, а иногда оскребками пригорелого плова. Я протягивал руку из-под халата, брошенного на меня наискось, и вкушал от этих яств, не вставая с места. В пасмешку чайханщик величал меня «хозяином». А я лежал целыми днями и все думал: «Как бы мне стать таким же богатым, как Мир-Джалялбай?»

1925-й год, поздняя осень.

Страница вторая

Из-под тюбетейки на висках взрослых джигитов и подростков, заходивших в чайхану, зазелели тюльпаны. Значит, весна уже. Как, однако, быстро проходит жизнь

человеческая — не успел оглянуться, вот уже и весна наступила. А с весной и деревья просыпаются, и всякие насекомые букашки-мурашки начинают копошиться, сновать. И в душе человека тоже дают о себе знать разные необыкновенные чувства.

Сегодня видел интересный сон. Лежу будто я на краю пашни в тени под талом. Так хорошо мне! Вдруг откуда ни возьмись молоденькая жепщина в новенькой шелковой парандже, в лакированных ичигах, в калошах, с двойными золотыми браслетами на белых руках. Подходит ко мне, спрашивает:

— Мамаджап-ака не вы будете?

Я не пошевельнулся, отвечаю:

— Я буду. А что вам нужно?

Женщина откинула чачван. Я смотрю на нее, как зачарованный, — губы алые, бутоном сложены, брови черные — что крылья парящей ласточки, волосы кудрявые, как на шкурке с молодого барашка, колечками завиваются на концах, на щеках румянец — точь-в-точь лепестки роз. Она взяла меня за руку.

— Если вы Мамаджап-ака, вставайте!..

— Да скажите же, что вам нужно?

— Мы пойдем к мулле.

— Зачем?

— Чтоб прочитал молитву, поженил.

— Кого с кем?

— Нас с вами!..

Заметив мое недоумение, женщина стала объяснять причину, почему мы должны пожениться:

— Я была женой одного байбачи. Тот человек недавно умер от водянки. Перед смертью он завещал: «Жена, говорит, я умираю. Если ты после моей смерти задумаешь выйти замуж, я стоймя встану в могиле, потому что нет на то моего согласия. Ну, а в случае, если молодость все-таки возьмет верх и ты захочешь выйти, то в таком-то месте есть такой-то и такой-то джигит, Мамаджаном звать, за него и выходи. Прими его к себе в дом и передай ему все мое богатство. Кроме него, никто не имеет права распоряжаться моим хозяйством. Мамаджан очастливит тебя даже больше, чем я». Сегодня ровно неделя, как я разыскиваю вас, чтобы исполнить это завещание. И вот нашла наконец. На свою долю я не в обиде: вижу, вы и красотой не обделены, и лет вам, похоже, не больше двадцати пяти, и, судя по росту, по стати, вы из тех молодых, что, раз ударит, гору в толкно сокрушит.

Вот и идемте своими собственными руками откройте ворота вашего счастья, владейте богатством...

Женщина помогла мне встать, привела к себе домой. Пригласила муллу, тот прочитал молитву, выполнил что положено. Богатства, оставшегося после байбачи, оказалось даже больше, чем говорила женщина. Тысячи и тысячи наличными деньгами, дом со всем обиходом, земля, вода, несколько коней — каждый готов взвиться под небеса. Особенно поправился мне один соловый иноходец. Я приказал оседлать его. Сам приоделся, повязал для шика поверх полосатого шелкового халата четыре шелковых поясных платка. Подхожу. Слуги подхватывают меня под мышки, подсаживают в седло, а нога моя как соскользнет со стремяни, и я угодил посом прямо в луку.

Я сразу же проснулся, открываю глаза и вижу себя все в той же кишлачной чайхане. Оказывается, меня ужалила оса: пыталась, видно, унести хлебную крошку, оставшуюся на губе от завтрака, ну и ужалила, попутно.

Сон оборвался на самом интересном месте. И хотя губа у меня здорово болела, я тотчас позвал чайханщика, кое-как наскоро пересказал свой сон и попросил истолковать его. Чайханщик, сбывчившись, молча выслушал мой сбывчивый рассказ и вышел, не сказав ни слова в объяснение. А через минуту вернулся, сунул мне в ладони длинную, как посох, свежевыломанную сырую палку и говорит:

— А ну-ка, хозяин, поднатужьтесь, встаньте со своего места — прибраться надо под вами, залежались вы тут очень. За кукурузу я давно уже рассчитался с вами. Выбирайтесь на улицу и валяйте на все четыре стороны. Может, где и повстречаете ту богатую вдовушку.

Он поднял меня, подхватив под мышки, и выпроводил за порог. Колени у меня дрожали, ноги заплетались, я боялся — вот-вот упаду. Но что поделаешь, таков уж, видно, этот превратный мир: была не была, потихоньку-помаленьку пошел я. Трудно было, даже дрын, какой всучил мне чайханщик на прощанье, казался очень тяжелым...

* * *

В дневнике Мамаджана-лентяя не написано, куда он после изгнания из чайханы поплелся и где опять свалился пластом. Дневник молчит и о событиях последующих двух лет. Когда мы беседовали с ним и спросили: «Почему вы

не написали о том, что было в двадцать восьмом-двадцать девятом годах», — мулла Мамаджан вместо ответа лишь молча усмехнулся. Кишлачные старожилы, знавшие Мамаджана, правда, намекали, мол:

— Эти годы он провел с шейхами у какого-то мазара.

И все-таки в этой части нам не все ясно. Может быть, он перебивался коржами, какие жертвовали паломники. А может, просил милостыню. Во всяком случае, нам не хотелось бы взваливать напраслину на человека, возводить хулу на его честь.

За последующие же годы дневник Мамаджана-лентяя начинается так:

Страница третья

Старики нашей общины стали настоящей напастью на мою голову. Какое им дело до человека, раз он тихомирно тащит свою арбу? Чуть что сказал, тут же начинаются упреки: «Мы друзья твоего отца, понимаешь, мерзавец?» Полтанапа земли и наполовину развалившуюся курганчу, что остались после отца, они передали «щедрому» баю нашего кишлака Мир-Джалал-куруку. За это бай согласился кормить меня год-полтора, пока я не возьмусь за ум, не примусь за какое-никакое дело-занятие. Вчера вечером байский работник Мамасавур перенес мои шмотья-лохмотья, сам я, опираясь на палку, доставшуюся мне на память от чайханщика, заковылял следом и перебрался на завалину в крытый проезд у ворот байского двора.

Этот проезд, будь он неладен, оказался местом очень песочным: тут и лошади, и арбы въезжают-выезжают, и пешие входят-выходят. А всего больше изводит меня не знающий угомона Алапар, разместившийся на завалине напротив моей. Чуть услышит какой шорох за воротами, тут же вскочит, гремя цепью, подбегает к подворотне и лает, лает. Ну никакой сладости от сна не осталось. Вот уже действительно пес, пес и есть. Ну что бы ему поменьше рыскать, как ему не надоест, подлому? А что поделаешь, приходится привыкать.

Насчет еды тут особенно жаловаться не на что. С внутренней половины байского двора приносят остатки, объедки, помои и всякое такое. Алапар, правда, в обиде на меня, пет-пет да и зарычит — недоволен, что объявился половищик на его долю.

Еду чаще всего приносит младшая жена бая, очень

даже приятная собой молодка. Можно сказать, точь-в-точь такая, на какой я женился во сне. Мне приходилось слышать, что многие сны сбываются на свете. Эх, вот бы и моему сну сбыться — умер бы Мир-Джалял-курук, вошел бы я примаком в его дом, как муж младшей жены, досталось бы мне все его богатство. Добро-то он копил не ленился, подлое семя! Вот здорово было бы, думаю себе, если бы вдруг все это богатство да сразу перешло бы ко мне. Поэтому, когда младшая жена бая приносит еду, я на всякий случай улыбаюсь ей учтиво, а бывает, и подмигну вслед.

Бай оказался человеком злым донельзя. Сегодня утром он в первый раз обругал меня. Я огорчился очень, пожалел, что пришел сюда. А он мне:

— Нечего,— говорит,— лежать тут медведем-увальнем, переглядываться с Алапаром да предаваться пустым мечтаниям. Праздность и аллаху противна. Даром кормить тебя дураков нет. Вставай, будешь посматривать за всеми, кто заходит и выходит через ворота, чтоб не утащили, не унесли чего.— Потом принес и сердито швырнул мне на завалину кучу рваных-драных уздечек и прочей конской сбруи, шило и пучок ремешков для шитья.— На,— говорит,— почини все это!

«Пустые мечтания! — думаю себе.— Откуда тебе знать, может, для меня эти мечтания сами по себе богатство!..»

Волей-неволей пришлось все-таки встать и в первый раз в жизни завяться шорным ремеслом. Руки плохо слушались. Один раз ткнул шилом под ноготь, и так мне горько стало — прилаживаю оборванные концы ремней, а сам всхлипываю, плачу, не совладав с собой.

Сегодня я сидел допоздна, поэтому коровы и телята, всегда пугавшиеся моего неподвижного «трупа», спокойно прошли через ворота.

Незаметно-неприметно починка сбруи стала моим ремеслом. Теперь и батраки бая тоже стали подбрасывать мне на починку всякую рвань.

Этот бай оказался человеком, не ведающим ни покоя, ни угомона. Меня он и к другим работам стал приспособливать: дрова колоть, ясли чистить, курам посыпать и всякое такое. Во всяком случае, пока бай не умрет и пока его богатства не перейдут под мою руку, мне, похоже, не избавиться от этих тяжелых трудов.

— О аллах, если пожелаешь наградить, то награди такого несчастного беднягу, как я!

1929-й год, осень.

Страница четвертая

С великим трудом пережил я эту зиму. Бай здорово-таки измотал меня. Поневоле пришлось научиться и лошадей чистить, и клевер резать для них соломорезкой, и поить их, и счищать лопатой снег, и воду носить, и двор подметать, и многому другому разному-подобному. В отместку с моей стороны на бая сыпалось немало брани-проклятий. Втихомолку, конечно.

Ранней весной этого года работники, батраки Мир-Джалалял-курука подняли против него смуту, отобрали все его добро-богатство, землю, воду, а самого куда-то спровадили. Байское подворье тоже перешло в руки батраков. Теперь они толкуют, мол: мы объединяемся в колхоз. И байское подворье будто бы нужно колхозу. А что это такое — колхоз? Чудные дела творятся на этом свете!

Обо мне никто уже и не думает позаботиться. Для всех я — дармоед, лентяй. Просить у кого-нибудь, особенно у батраков, завладевших богатствами бая, стыдно. Да они, если и попросишь, брезгливо бросают прямо в лицо: — Сдохнешь, что ли, если станешь работать?

Работать — это легко сказать. Я уже подумываю, не вернуться ли мне к шейхам, каляндарам, что ютятся у гробницы мазара. Но чтоб быть с ними, надо знать несколько газелей. Я пробую повторять стихи, каким прежде научился у них, — оказалось, что все они выскочили из памяти.

Пока я раздумываю, как быть дальше, проходит несколько дней. Меня пачинает обижать равнодушные люди. Говорите, кто не работает, тот не ест? Ладно, согласен, буду работать. Так дайте же мне работу?

На мое счастье, на бывшем байском подворье появился Саттаркул-ака, что верховодил у батраков, какие надумали строить колхоз. Он забрал меня к себе. Дал халат, рубаху, штаны, отвел мне хибарку в своем дворе. Короче: и с пропитанием, и с жильем, и даже насчет помыть-постирать — все устроилось как следует быть. Теперь я могу свободно отдаться своим мечтаниям. Где-то она, младшая жена Мир-Джалалял-курука?

1930-й год, ранняя весна.

Страница пятая

И здесь тоже нет покоя. Саттаркул-ака чуть не силой потащил меня в поле.

— Довольно,— говорит,— хватит лежать. Пора и за работу браться попоемногу. Выглядишь ты — что надо, поправился. Идем со мной.

Я нехотя поплелся за ним. Сам он взялся за плуг, а меня заставил лошадей за повод водить. В поле было полно народа. Одни пахут, другие боронят, третьи кетменем орудуют — все при деле. Видя, что я, как малолеток, вожу в поводу лошадей, иные из молодых ребят ухмылялись молча, другие открыто насмешничали.

Работали мы до позднего вечера, умаялся я здорово. Мастава, сваренная на ужин женой Саттаркула-ака, оказалась мне очень вкусной — я, наверное, за всю жизнь не ел такого вкусного варева. После ужина я прошел в свою хибарку, лег спать. Спал очень крепко. И самое интересное — в эту ночь я не видел никаких снов.

Прощайте, прощайте теперь, мои сладкие мечтания!

Утром опять вышли на работу. Назавтра — опять, послезавтра — опять. И так изо дня в день: работа, работа. И как это не надоест колхозникам?

Жара. Солнце нещадно палит плечи, земля жжет ноги, накалилась, как медь. А по краям пашни талы, карагачи колышат под ветром густой листвой, манят в тень, в прохладу. А под талами, под карагачами в арыках прозрачная вода бежит-журчит, чистая-чистая. Ну как тут не подивиться упрямству этих людей. Отказываются от такого блаженства, покоя, позабыли о прохладе помостов над арыками — без передышки машут и машут кетменями на поле в самую жару. Хочется крикнуть им: «Да отдохните же вы, вздремните хоть на минутку, отчаянные головы! С работой как-нибудь обойдется. Или вы хотите переделать все, что деды-прадеды ваши не доделали!» И крикнул бы, да боюсь верховода Саттаркула-саркяра. Поэтому, хоть руки мои в работе, мысли витают в тени деревьев-садов, а глаза помимо моей воли шарят с тоской по местам, обещающим прохладу.

Так вот и прошла-миновала в работе вся краса летней поры. А жаль, ах, как жаль! И вот уже и хлопок собран и свезен на завод. И осень пришла и ушла, и зима настала. И я уже подумал было: ну, мол, теперь-то вздохну свободно. А Саттаркул-ака опять помехой встал. Перевозили мы в амбар зерно, доставшееся ему от колхоза, а он показывает на четыре мешка пшеницы и говорит:

— Вот эти четыре мешка получены за твой труд. Если бы ты работал как следует, то получил бы еще больше. А заработанный хлеб, он, брат, вот как сладок. Работай, и

зимой не лежи зря. Скучно станет, иди на курсы, учишь грамоте.— И записал меня на курсы, открытые при красной чайхане колхоза.

Я говорю ему: «У меня мозги затвердели уже. Да и к чему мне грамота, города, что ли, дадут под мое начало?» А он и слушать не стал. Теперь вот, хочешь не хочешь, тащись на эти самые курсы, учишь.

В науке — сила.

1930-й год, лютая зима.

Страница шестая

Сегодня в колхозной красной чайхане было собрание. Заново выбирали председателя. Все в один голос закричали: «Саттаркула Бутабаева желаем председателем!» Саттаркул-ака прежде был председателем совета урожайности. Теперь решили сделать его председателем колхоза. Все подняли руки. Я тоже был бы за то, чтобы Саттаркул-ака стал председателем, но мне подумалось: будучи председателем, он, наверное, заставит меня работать еще больше,— и я замешкался. Но под конец все-таки поднял руку.

На собрании обсуждались и другие вопросы. Бригады колхоза вызывали друг друга на соревнование. Все с одобрением захлопали в ладоши, начали подписываться. Очередь дошла и до меня. Я взял слово.

— Товарищи,— говорю,— если есть какая работа, никто от нее бежать не станет. Зачем же еще соревнование? Поэтому я остаюсь сам по себе, товарищи.

Все, кто был в чайхане, разом расхохотались. Я здорово застыдился, аж пот на лбу выступил. И подписал договор все-таки, хоть и без особой охоты.

Летом я работал средне, по силе возможности. Постоянно работать и работать если — это может и тоску нагнать на человека. Раза два-три я брал по полпуда пшеницы из выданной мне авансом и тайно от Саттаркула-ака сбывал ее в городе на базаре. На вырученные деньги попробовал разгонять тоску, а самое подходящее место для этого Чархпаляк: на берегу речки помосты, красивыми коврами застеленные, тут же перепела поют-заливаются. Благодать! Да что там говорить!..

Когда я в первый раз отлучился в город, бригадир

ничего не сказал. Второй раз я свалил на болезнь, мол: приболел что-то, знобило всего. А в третий раз бригадир здорово пристыдил меня и пригрозил: «Выгоню из бригады. Мне лодыри не нужны!» Как он может выгнать, думаю. Я не лишенец и не такой уж плохой человек. А вообще-то хорошо, что в дело вмешался Саттаркул-ака, в колхозе меня оставили. Теперь опять работаю.

Весной я кипул на край грядок хлопчатника малую толику семян дыни. И вот, в один из дней окучиваю хлопок и вижу: одна дыня совсем поспела, сама вроде просит, хвостик подставляет: сорви меня. Я сорвал ее, принес под тал, разрезал, пачал есть. А она оказалась такой сладкой — прямо язык щемит от сладости. Я с превеликим удовольствием съел ее и уснул там же. Некоторое время спустя просыпаюсь, потянулся (надо сказать, хорошая это штука — потягивание, кто только его выдумал!). Ну, потянулся я, даже пальцами похрустел, открываю глаза, а кругом колхозные балаболки стоят, хохочут. И среди них Кумри, племянница нашего бригадира, насчет которой я уже строил про себя кое-какие планы. Я здорово смутился, вскакиваю. Чую, голова задела за что-то. Оборачиваюсь, а это рогожное знамя, какие у нас дают отстающим. Стыдно мне было очень. Особенно обидно было, что меня обсмеяли девушки. «А ну вас!» — говорю и принимаюсь за работу. Да так работаю до конца дня, с таким усердием, что бригадир наш подошел ко мне вечером, похлопал по плечу и говорит:

— Вот, братишка Мамаджан, именно так должно работать. Это больше подходит для чести джигита.

Я, конечно, просто разомлел от удовольствия.

Настала осень, мы сдали хлопок. Оказалось, наша бригада выполнила план на сто тридцать два процента. Нас решили премировать. У меня тоже, конечно, рот до ушей...

Собрание состоялось в чайхане, там же устроили большое угощение. Всем выдали премии. Я тоже жду своей очереди. Смотрю, а один ловкач выходит и вместо премии так начал меня чествовать, что я места не находил, куда деться. Другие тоже прямо в лицо стали говорить о моей лени. Тут уж я не выдержал. Вскочил, встал во весь рост и говорю:

— Товарищи! — говорю. — Слово мое твердое. Я бросаю лениться, объявляю себя ударником и вызываю всех вас на соревнование!

Все, конечно, хлопали в ладоши.

В этом году из-за своей лени я выработал, оказывается, всего-навсего сто шестьдесят три трудодня. За них я получил девятьсот семьдесят восемь килограммов пшеницы да пятьсот семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек деньгами. Саттаркул-ака, когда мы получили что положено, позвал меня и говорит:

— Теперь, братишка, ты становишься в ряд с людьми. У тебя есть семнадцать мешков пшеницы. Есть деньги. Бери себе половину моей усадьбы да начинай строиться. Мы поможем, кошар устроим. Ну, а потом, да... потом жениться надо тебе.

В душе я порадовался этому разговору, по виду не показал.

Ровно посередине двора соорудили мы глинобитный забор. Потом я пригласил на помощь друзей-приятелей, выстроил добротный дом в одну комнату с террасой.

Теперь жена Саттаркула-ака вот уже несколько дней ходит в дом к Кумри — свахой. В ее хлопотах, собственно, и нужды нет, да ладно уж. Потому, как-то раз встретился я с Кумри лицом к лицу и прямо посмотрел ей в глаза. Она смутилась, отвернулась, но как-то наполовину. А я спрашиваю:

— Да, что ли? — Намекаю, значит: согласна, что ли?

Она застыдилась чуточку. А потом: «Да!» — говорит и убежала.

Ну вот, я женился уже. Я и не знал и думать не думал вовсе — Кумри оказалась не женой, а настоящей палочкой-погонялочкой. Не пойдешь в школу если, обеда, говорит, не будет. Поневоле приходится продолжать учение, брошенное в прошлом году на половине. Сама она тоже учится. А потом, то одного, говорит, у меня не хватает, то другого недостает. Корову, говорит, давай купим, ковер купим. Ну, просто извела вконец.

И ничего не поделаешь, так, видно, заведено на этом свете.

Весь 1931-й год.

Женатый человек не может, оказывается, не работать. Потом есть ведь и такое дело, как хлопковая независимость государства. А укрепление колхоза с организационной и с хозяйственной стороны! Да надо не иметь ни

чести, ни совести, чтобы лодырничать, когда перед тобой стоят такие великие задачи.

В этом году мы, муж и жена, работали как передовики-ударники. Хлопковый план по колхозу выполнен на сто двадцать процентов, а по нашей бригаде — на сто тридцать пять. В газете напечатан мой портрет с хвалебной надписью. Я выработал двести восемьдесят семь трудодней да жена сто двадцать три. Получили мы две тысячи шестьсот шестьдесят пять килограммов пшеницы и тысячу двести тридцать рублей деньгами. Есть у нас корова с теленком. Настроение у меня бодрое.

1932-й год.

Меня выбрали бригадиром. Кумри после второй окучки перестала выходить на работу. Доктор говорит: от этого, мол, ребенку вред может быть. Мы, конечно, люди, в лекарских делах не сведущие, — может, оно и так.

На трех гектарах участка своей бригады я посеял египетский хлопок. Всходы очень хорошие. Всего земли у меня тридцать семь гектаров. Хоть я и дал правлению обязательство вырастить на каждом гектаре по 13,5 центнеров хлопка, про себя все-таки думаю собрать по двадцать четыре. Все члены моей бригады живут в достатке. Трудятся по-ударному, так что надежд у меня много.

По вечерам я не провожу время напрасно, записываю в особую тетрадь все события, какие произошли со мной в жизни. Кумри читает мои записки и смеется. А что, смеется и пусть смеется. Не зря говорят: «Коль скажешь правду, смеются...»

1933-й год.

На этом дневник Мамаджана-ака обрывается. Когда в беседе с ним мы спросили: «Почему вы не записали остальное?» — Он ответил: «Лень было, работы много».

Поэтому дописывать приходится мне самому.

Было ль то пе было, но город по названию Андижан и поныне на том самом месте стоит. Вокруг и около него колхозы могучие, один другого мощнее. А в тех колхозах

работают такие богатыри-ударники, что, судя по рвению, нынешней весной ими показанному, план по хлопку всей округой непременно будет выполнен и даже с превышением.

Среди тех колхозов есть колхоз имени Ленина. Председателем в нем Саттаркул-ака, а бригадиром — Мамаджан сын Мухаммад-Алиев. Мамаджан-ака перед всей советской и партийной общественностью вызвал на соревнование все остальные колхозы и дал большевистское слово выполнить план этого года на сто пятьдесят процентов.

И Мамаджан сдержит свое слово.

1934